

# Михаил Смирнов



## ПОЗДНЕЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ

Леонтий Шаргунов вернулся из госпиталя в начале осени, когда зачастили дожди, листва на деревьях пожелтела, а в низинах заколыхался туман. Война уже второй год как закончилась, а он только приехал.

Солнце повернуло на закат, когда Леонтий появился в деревне. Одной ноги у него не было, вместо нее деревянный чурбак, затянутый выше колена широкими ремнями. На другой ноге запыленный разбитый сапог. Сам в галифе, в гимнастерке, на которой поблескивало несколько медалей. Пилотка сдвинута на бровь, а за плечами тощий вещмешок.

Леонтий долго стоял за околицей, поглядывая на деревню. Задергалась щека, а потом затряслась и голова. Он схватился за нее рукой, словно хотел придержать, и зло матюгнулся. Нервное, как сказал врач в госпитале, пройдет со временем. А может, и нога отрастет. И хохотнул. Леонтий в ответ криво усмехнулся. Ладно, если бы кусок мяса выдрало – это дело наживное, а вот молодому без ноги остаться, да еще в деревне, – это большая беда. Тут и здоровому мужику ни времени, ни рук не хватает, чтобы по хозяйству успеть, а он, Леонтий, теперь обрубок.

Достал кисет. Руки дрожали. Пока прикуривал «козью ногу», просыпал табак. Несколько раз затянулся, поплевал на ладонь, затушил – и вытрусил остатки обратно в кисет: пригодится. Прислонился к дереву, расстегнул ремень. Поморщился, растирая култышку. Устала нога, ноет, спасу нет! А еще тащиться на другой конец деревни, да на виду: вечер, уже все с работы домой пришли... Леонтий не раз пожалел, что решил вернуться в деревню. Лучше бы не возвращался. Для всех лучше, и для жены – тоже...

Он еще немного потоптался, потом сплюнул, закинул вещмешок за спину и захромал по разбитой дороге: скрип-шлеп, скрип-шлеп, скрип-шлеп...

Леонтий шел медленно, искося поглядывая на избы. Кое-где мерцал свет. Где-то гроыхнуло ведро, сразу захотелось пить. Он подошел к колодцу. Ухватившись одной рукой за высокий сруб, второй стал крутить ворот. Достал воды, сделал несколько глотков – кадкы заходил ходуном. Леонтий слил воду на корявую жесткую ладонь, плеснул на лицо, опять слил и плеснул... Гимнастерка намочла, пошла пятнами. Он пригладил короткий ежик волос, поправил вещмешок – и опять по деревне: скрип-шлеп, скрип-шлеп...

Издредка кто-нибудь из жителей появлялся на улице. Заметив солдата с вещмешком, люди жадно всматривались в его лицо, а потом долго провожали взглядом.



Скрип-шлеп, скрип-шлеп, скрип-шлеп... Леонтий морщился, когда оступался, и снова шагал, стараясь не смотреть по сторонам, чувствуя, что за ним наблюдают. Казалось бы, родная деревня, но сейчас никого не хотелось видеть: устал за долгую дорогу. Да и радости от возвращения он не испытывал. Не было ему здесь жизни в прошлом, а теперь тем более не будет.

Скрип-шлеп, скрип-шлеп...

Наконец Леонтий добрался до дома. Вокруг поразрослась бузина да кусть сирени. Постоял, хмурясь, исподлобья поглядывая на темные окна. Все же решил-ся – толкнул калитку, но не стал закрывать: пусть стоит распахнутая. Прошелся по заросшему двору – повсюду татарник да репей, – сбросил мешок на крыльцо, неуклюже развернулся и уселся на пыльную скрипучую ступеньку. Тяжко, со всхлипом вздохнул. Растегнул ремни. Деревянная нога громыхнула и съехала на землю. Достал кисет, свернул «козью ножку» и задымил.

Ну, вот он и вернулся домой. А ждут ли его здесь? Вряд ли...

Махра потрескивала искрами, а потом едкий дым подхватывало ветерком, закручивало и уносило. Леонтий сгорбился, под гимнастеркой топорщились худые лопатки. Он сидел и, время от времени поглядывая по сторонам, морщился, растирая обрубок ноги.

За забором раздался чей-то голос. Ударили по доске, и донеслись шаркающие шаги.

– Это... Что расселся, прохожий? – пробубнил низенький лысый мужичок и пошкрябал волосатую грудь. – Что, говорю, сидишь-то? – Он махнул длинной рукой: – Ступай, ступай отсюда! Видишь, хозяйки нет? Вот и нечего соваться. Иди, пока я тебе пятки в обратную сторону не завернул.

– Да пошел ты! – буркнул Леонтий, продолжая растирать культю. – У, зараза, разнылась!

– Шагай, тебе сказано, нечего по чужим дворам шариться! – громко зевнул мужик, потянулся, а потом всмотрелся в Леонтия и удивленно отмахнулся: – Да ну, не верю... – Подступил ближе, склонился к солдату, хотел было опять зевнуть, но быстро закрыл рот, аж зубы клацнули. – Ленька! Ты, что ли? Ты вернулся?! На тебя же похоронка давным-давно пришла! Мол, погиб смертью храбрых, похоронен в братской могиле... А где – я забыл. Сам читал. Варвара твоя как получила похоронку, так в обморок и грохнулась, едва откачали. Все продолжала ждать от тебя вестей, не верила, что ты погиб. Ага... Война как закончилась, все деревенские мужики, кто в живых остался, домой вернулись. Мы, как соберемся, всё тебя поминали в числе погибших. А Варька каждый день на дорогу выходила – высматривала, не идешь ли. И вот ты сидишь здесь живой... Как же так, а? И правда живой, чертяка!

Мужик не удержался, хлопнул широченной ладонью солдата по спине так, что тот покачнулся и закричал.

– Слышь, Агафон, что ты размахался ручищами? Чуть спину не переломил, черт длиннорукий! Что на всю деревню разорался? Ну пришел я, ну живой – и что?

– Так это же я от радости... Ага! Много наших мужиков полегло, а ты уцелел! Я что говорю... За такое нужно выпить! – Агафон звонко щелкнул по горлу, а потом, словно невзначай, поинтересовался: – Слышь, Ленька, а где же ты столько времени пропадал? Неужто в лагерях побывал? Или какую-нить бабу утешал и забыл про свою Варьку? Сейчас же много такого добра. Сам знаешь, мужиков-то не хватает. На вес золота, так сказать...

– Какие лагерь, какие бабы, что ты мелешь помелом-то? – рассердился Леонтий. – Нога не заживала. Гангрена. Отпилят – а она опять гниет, отпилят – а она опять... Я сразу говорил, чтобы отрубили по самую мошонку и всё на этом. Ан нет, они же умные, всё знают и умеют. Говорят: «Пытаемся спасти». А что спасать, если уже гангрена пошла? Сами измучились и меня измохратили. Ладно, не подох, живучий оказался. Кое-как выкарабкался. Еле-еле душа в теле...

И заскрипел зубами – протяжно, громко, до озноба.

А потом принялся стаскивать сапог с ноги. Уцепился задинкой сапога за ступеньку, склонился, удерживая его, и запыхтел, заматерился, когда нога соскочила. Опять зацепился, снова стал дергать – и новые матюги, еще хлеще прежних.

– Погоди, Ленька, не психуй, – подскочил Агафон, ухватился за сапог и за ногу, дернул раз, другой... Примерился, рванул – и Леонтий съехал со ступеньки. – На, держи свой сапог. Нога-то не оторвалась, когда дерганул, а? – Агафон засмеялся, мелко затрясся. – Меня на фронте всегда звали, если сапоги прирастали к ногам. Почитай, сутками на ходу, сапоги некогда снять, портянки перемотать. Вот и прирастали. Глянeshь, а от портянок одно название осталось. И твоя портянка сопрела, гляди... Ты, Ленька, посиди чуток, сейчас вернусь. Отметим приезд.

Он щелкнул толстым пальцем по горлу, а потом заторопился со двора.

Леонтий пошевелил пальцами. Кожа белая, рыхлая, местами сбита до кровавых мозолей, а ногти на ногах толстые да желтые, и такой запах... Он пожаткал в руках вонючую портянку, та под пальцами стала расползаться. Нахмурился, хотел было выбросить, а потом повесил на крыльцо. Авось еще послужит, когда просохнет.

– Ну, Ленька, давай за твой приезд выпьем! – закричал Агафон, появляясь в калитке, и бултыхнул бутылку с мутноватой белесой жидкостью. В другой руке он держал стопки и две вяленые рыбки. Засеменил к крыльцу. – На, держи...

Сунул одну стопку Леонтию, сам зубами вытащил пробку из бутылки – и забулькал самогон.

– С возвращеньцем!

Чокнулись. Выпили.

Леонтий поморщился: отвык. Выпивал при случае, но так, чтобы каждый день, не было желания. Он пошкрябал щетинистую щеку, достал кисет и принялся сворачивать «козью ножку». Закурил. Следом засмолил и Агафон. Поставил чурбак напротив крыльца, уселся на него и дымил, поглядывая на соседа, на обрубок ноги и большой деревянный протез со сбитой набойкой. Похвастался:

– А я всю войну прошел – и ни одной царапины! Бывало, после боя глянешь: вся шинелька в дырах, а сам целый. Ага...

– У каждого своя судьба, – буркнул Леонтий. – У нас был такой же, как ты: тоже ни одного ранения, словно заговоренный. А через речку переправлялись – он утонул. Видишь, как судьба распорядилась...

– А для чего такие большие оглобли сделал? – Агафон ткнул в протез. – Ничего промеж ног не натерло? Гляди, отвалится хозяйство-то. Как же без него будешь, а?

И хохотнул, довольный.

– За свое хозяйство беспокойся, – покосился на него Леонтий и высypал остатки табака в кисет. – Так удобнее ходить. Не потеряется. Ремнями привязал к ноге и шагай. Первый протез выстругал, так на ходу мотылялся, все колено истер. Вот и придумал с такими оглоблями. Подушечку под колено сделал, рюмку для кул-

тышки и ремни приспособил. Култышку сунул, захлестнул ремнями – ни в жизнь не соскочит. Проверено.

– Ага, понятно, – закивал Агафон и потянулся с бутылкой. – Давай-ка еще раз за твое возвращение. Живой пришел, глянь-ка! – И удивленно мотнул башкой.

Выпили еще по стопке. Леонтий оторвал рыбий хвостик, погрыз и опять вынул кисет. Курил, поглядывая по сторонам. Вон сарай покосился. Огородишко зарос сорняками, а поле, где картоху сажали, почти все бурьяном покрылось. Лишь поближе к избе земля чернеет. Раньше-то поболее засаживали... В старые времена по осени картоху выкапывали, а нынче уже убрали. А может, даже и съели – кто знает. Он вздохнул.

– А что домой не писал? – покосился на него Агафон. – Как ушел на войну, так и пропал. Ни слуху ни духу...

– Что спрашиваешь-то? – Леонтий сгорбился, уткнулся взглядом в крыльцо. – Сам знаешь, как я жил.

Жизнь у него еще до войны не заладилась. Светла судьба с Варварой, но так и остались чужими друг для дружки. Да и женились как-то не по-людски. Слишком быстро все закрутилось. Немного погуляли, а потом расписались. Может, как говорят, влюбился по уши: девка-то красивая была, мимо не пройдешь – оглянешься. А может, чем-нибудь опоили, чтобы дальше своего носа не видел. На следующий день, когда свадебные гости опохмелились, кто-то с ехидцей сказал, что баба у него блудливая, как мартовская кошка. Леонтий не выдержал, обозвал жену по-всякому и оттолкнул от себя, а она взглянула и промолчала, ни слова не сказала в ответ. лишь нахмурилась и в избе скрылась. Он сидел на крыльце, словно оплеванный, и не знал, как быть дальше. Ударить кулаком по столу и сказать гостям, что не останется с Варварой, потому что его обманули? Засмеют и не поймут: сам же выбирал невесту, вот и живи теперь. И никуда не денешься.

Стали жить. Леонтий думал, перемелется – все забудется, но, видать, бесполезно. Не простила его Варвара, затаила обиду. Первое время возвращался домой, по хозяйству возился, ночью совался к жене, а она словно бревно лежит или отвернется и молчит. До замужества веселая была да ласковая. Дня не мог прожить без нее. А потом будто наизнанку вывернули... Замолчала с той поры, как он ее при людях обругал, и ни словечка не говорила.

Детей не было. Пустая оказалась.

По деревне про нее всякие слухи гуляли. Говорили, будто у Варвары раньше был заезжий хахаль, с которым она было уехала, да через две недели вернулась. Всё думали, за ум возьмется. Ага, как же! Другого ухажера подцепила и назло всем закрутила с ним любовь, потом третьего... А потом Леонтий подвернулся – молодой, глупый. Окрутили его Варька с ее матерью, башку задурили и женили простачка... И еще всякое шептали.

Так и жили молодые супруги – каждый сам по себе. Он дневал и ночевал на работе. Она собиралась и тоже уходила. Леонтий вернется домой, а ее нет. Появится, молчком сунется на кровать и не шевелится, а начни говорить – будто не слышит. И лаской пытался образумить, и смертным боем бил, а Варвара отлежится – и снова в молчанку играет. Потом Леонтия на войну забрали. Ни слезинки не проронила, когда провожала. Все смотрела на него, за руки хватала и старалась в глаза заглянуть, но молчала. Он буркнул, что прощает все ее грехи, но больше к ней не вернется, потом уселся на подводу и ни разу не оглянулся, пока деревня не скрылась из виду.

А сейчас приехал – и для чего?..

Леонтий помедлил, взглянул на соседа, выпил, отмахнулся от закуски и, уткнувшись носом в пропахшую потом гимнастерку, сгорбился на ступеньке.

– Устал я, Агафон, – сказал. – И раньше была жизнь через пень-колоду, и сейчас вернулся, не знаю зачем. Сижу, а в избу не захожу. Словно не моя она, а чужая. Как будто мимо шел, присел немного отдохнуть и сейчас дальше отправлюсь. Видать, вся наша жизнь – это дорога. Только у кого-то она гладкая, а у меня – вся в колдобинах...

– Знаешь, Ленька, у каждого в жизни колдобин хватает, – перебил Агафон. – Не успеваешь перепрыгивать и обходить. И люди не станут разбираться, кто или что тебя толкнуло в грязь, а тут же начнут судачить. Вот помочь отмыться и встать на ноги согласится не каждый, потому что всегда легче осудить, чем протянуть руку.

Они сидели и молчали. Изредка курили, а еще реже наливали самогонку и выпивали. Потом Агафон поднялся.

– Ну, бывай, – сказал он. – Подумай над моими словами, а я пошел. Умотался сегодня. На ходу засыпаю. – И громко, протяжно зевнул.

Направился к калитке, но потом обернулся.

– Слышь, а что про Варьку-то не спрашиваешь? Все-таки жена...

Леонтий пожал плечами.

– А зачем? – сказал он. – У Варьки своя жизнь, а у меня...

И махнул рукой.

– Уехала она, – зевая, сказал Агафон. – Немного не застал. Дня два как уехала, а куда – не знаю.

И ушел.

Леонтий невольно оглянулся на дверь. Уехала... Кажется, на душе стало легче, но в то же время навалилась усталость. Он боялся этой встречи, но в душе хотел увидеть ее, свою жену. Посмотреть, какой она стала за эти годы. Хотя какие годы, если его в середине войны забрали... Такая же осталась, как раньше. С ним холодная, словно ледышка, зато с другими была горяча, как шептались в деревне. Леонтий ушел на фронт и ей руки развязал: делай что хочешь...

Он чертыхнулся. Хватит о ней думать и себя накручивать!

Долго поднимался, схватившись за шаткие перила. Придерживаясь за стену, допрыгал до двери. Она не заперта: зачем, если нечего воровать. Толкнул – заскрипела и распахнулась. Уже в сенях до боли знакомые запахи. На ощупь нашел в темноте дверь в избу, дернул. Не получилось переступить порог. Опустился на щелястый пол, на карачках пробрался внутрь. Прислонился к печке. Холодная, а все равно пахло хлебом и дымом. В животе заурчало. Леонтий уже забыл, когда в последний раз ел, да и желания раньше не было: покурил, водички попил – и хватит.

Заполз в горницу и опять прислонился к стене. Стена обшарпанная, давно не мазанная и не беленная. Взглянул по сторонам – и закашлялся, задохнулся. Частенько ему на фронте и потом в госпитале ночами снилось, как он сидит за столом, а на столе чугунок с картохой, рядом капуста лежит и полная чашка соленых рыжиков, а здесь грузочки выглядывают, а в другой чашке судак и щука соленые – сам на зиму заготавливал. Каждый год опускал в погреб по два-три бочонка с рыбой, потом всю зиму питались. С картошкой, с соленьями, а если еще под стакашок... И, как ни странно, Варвара снилась. Иной раз Леонтий чертыхался, а бывало, тоска накаtywала, да такая, что хоть волком вой или об стену головой бейся!

И всегда была какая-то недосказанность в этих снах. Варвара стоит перед ним и смотрит, словно в душу заглядывает и выворачивает ее – эту душу, и вроде что-то хочет сказать. Потянется ему навстречу, а потом плечики поникнут, и стоит сгорбившись. Леонтий руку начнет к ней протягивать, а рука неподъемная, с места не сдвинешь. Рванется к ней – и тут же просыпается, а потом весь день смурной ходит...

– Эй, хозяйева!

С улицы донесся густой голос, и раздались медленные тяжелые шаги.

– Что свои ноги разбросали по всему двору? Ни пройти ни проехать.

Заскрипела дверь. Склонившись, протиснулся высокий мужик, аккуратно представил протез к печке, а сам заглянул в горницу.

– Здорово, Ленька! – забасил он, подхватил Леонтия и принялся тискать. – Здорово, чертяка! Живой, ёшкин малахай, а мы уж тебя тыщу раз похоронили! Значит, будешь жить вечно... – И опять тискает.

– Пусти, Панкрат! – захрипел Леонтий, стараясь вырваться из цепких рук. – Все ребра переломал, ирод!

– А мне Агафон говорит, ты вернулся, а я не верю. Сам знаешь, какой он болтун, – продолжал басить мужик. – С того света не возвращаются. Ага, ёшкин малахай... Думал, он лишку выпил. Присмотрелся – вроде трезвый, и по глазам видно, не врет, зараза. Ну, я у своей бабы пузырек забрал ради такого случая, немного снеди прихватил – думаю, ты же голодный вернулся – и сюда подался. Гляжу: точно, возле крыльца нога валяется. Не обманул Афонька! Аж дух занялся, так обрадовался. Ведь тебя же давным-давно схоронили, ёшкин малахай. Одна твоя Варька не верила, что ты погиб. Всё ждала...

И Панкрат опять полез обниматься. Потом дотащил Леонтия до стола и посадил на шаткую табуретку.

– Здесь чуток посветлее будет, – сказал он, вытащил из кармана бутылку, заткнутую бумажной пробкой, положил на стол большой сверток и метнулся на кухню. Загремел чем-то, захлопали дверцы, и Панкрат опять вернулся. – Вот, разыскал, – сказал он, поставил стаканы и разлил выпивку. Потом развернул сверток и придвинул к Леонтию. – Это для тебя, ёшкин малахай. Давай-ка опрокинем по стопке, и принимайся за еду. Истощал, кожа да кости остались! Ну, ничего, были бы кости, а мясо нарастет. Откормит тебя Варвара, поставит на ноги...

И запнулся, исподлобья взглянув на Леонтия. Тот промолчал, лишь сильнее нахмурился.

– Ну, «провались земля и небо, мы на кочках проживем», как мой батяня говорил. Давай-ка опрокинем за приезд, – сказал Панкрат, медленно выпил и затряс головой. – Ух, зараза, аж слезу вышибает! – И тут же ткнул пальцем: – Ты покушай, Ленька, покушай. Оголодал, пока добрался. Правда, мало разносолов. Голодно в деревне, но ничего, не помрем – привыклие.

Леонтий взял со стола маленького жареного окунька и принялся его грызть, обгладывая и обсасывая каждую косточку. У, вкусно-то как! Всякую рыбу пробовал, а своя намного вкуснее. Родная, можно сказать.

– Давай еще по стопке опрокинем, – подтолкнул Панкрат. – Ну и что, что темно? Мимо рта не пронесешь!

И снова закряхтел, закашлялся. Потом закурил, и огонек выхватывал из тьмы уставшее лицо, заросшее щетиной, и пальцы с обгрызенными ногтями.

– Ну, рассказывай, почему задержался, – наблюдая за Леонтием, сказал сосед. – Афонька говорил, что в госпитале валялся. А почему не писал домой? Все обиду держишь на Варвару, да?

– А тебе какое дело? – не стерпев, рывкнул Леонтий и бросил рыбью голову на стол. – Что лезете в душу? Один зашел, взялся учить, сейчас ты нос суешь... В своих семьях разбирайтесь, а ко мне не приставайте, не то враз отлуп получите. Ишь, защитнички выискались!

Не удержался, схватился за бутылку, налил в стакан, выпил и замолчал, поглядывая в темное окно.

– Дурак, – спокойно, даже неторопливо пробасил Панкрат и повторил: – Дурак! Развыступался, ёшкин малахай! Сам виноват. Поменьше бы других слушал, а побольше бы Варькой интересовался. Внимание уделял, так сказать. Глядишь, жили бы как люди. Ладно, потом поговорим... Лучше скажи, как в госпиталь попал, почему похоронку прислали?

– Как обычно попадают – ранили, – буркнул Леонтий. – Осколком зацепило. Гангрена началась. Если бы сразу отрезали ногу, давно бы приехал, а они «спасали». И на кой черт она нужна такая? – Он хлопнул по обрубку, поморщился – больно. – Это же не мужик, с такой култышкой, тем более в деревне: ни копать, ни пахать. Молодой еще, жить да жить, но уже стал обузой. Ай, да пропади всё...

Махнул рукой и отвернулся.

– Какая обуза, если всего полноги не хватает? – хохотнул Панкрат. – Вон возьми нашего Николая Дронова. Ну, у которого дом возле речки. Да ты знаешь его, ёшкин малахай! У него три култышки и рука крючком, а он живет да еще умудрился ребятенка сделать. И баба его рада-радехонька, пылинки с него сдувает. А ты: обуза, обуза... Кому – Варьке, что ли, обуза? Да ну, скажешь тоже...

– Что ты заладил: Варька, Варька... – взъярился Леонтий и крепко хлопнул ладонью по столу. – У нее своя жизнь, а у меня своя. Понял? Я вообще не хотел возвращаться. Никто не ждет меня. Некому ждать.

– Дурак, ох дурак! – покачивая головой, сказал Панкрат и поднялся. – Ладно, я пойду, пока не разругались. Вижу, разговор не получается. Отсыпайся с дороги. Скажу своей бабе, чтобы завтра к тебе заглянула. Чем-нибудь поможем. – Постоял, помолчал, потом все-таки сказал: – А Варька твоя, чтобы ты знал, за десятерых ломила в войну, когда всех мужиков на фронт забрали. Всех баб поддерживала, с любой бедой к ней бежали, а она помогала. Последний кусок ребятишкам-сиротам отдавала, а сейчас поехала... – Он запнулся, а потом махнул рукой: – Смотришь далеко, а под носом ни шиша не видишь. Эх ты, горе луковое...

И ушел, хлопнув дверью.

Леонтий долго сидел за столом. Темно за окном, а в избе еще темнее. Руку протяни – и не увидишь. Курил. Вспыхивал огонек, выхватывая из темноты край стола, или отражался в мутном стекле. Леонтий потушит окурочек, вытрусит в кiset и снова сидит. Обо всем думал. Мелькали перед ним обрывки прошлой жизни. Одни исчезали, другие складывались в какую-нибудь картинку. То война вспоминалась, то довоенное. Вот отец мелькнул, давно уж его нет в живых. Надо бы на могилки сходить к родителям да и деда с бабкой проведать. Всех родных Леонтий схоронил. Один был у матери с отцом. Мать он помнил плохо: какой-то смутный образ, запахи больницы... А потом она померла. Леонтия воспитывал отец. Да как воспитывал, если его дома-то не было, все на работе пропадал?

Вернется, повозится по хозяйству, что-нибудь перекусит и спать заваливается... Однажды по весне отец стоял на обрыве, смотрел, как вода прибывает, а край обрыва обвалился и ушел под воду. Отца нашли в топляках, когда вода на спад пошла.

Пришлось Леонтию самому заниматься хозяйством. Не до учебы стало, рано пошел работать, а подошло время – женился, но жизнь как-то не сложилась. Конечно, Леонтий и себя за это корил, но Варвару – больше: мол, люди зря не будут говорить, дыма без огня не бывает. С другой стороны, может, со всем бы они справились, если бы он, мужик, ей плечо подставил. А он, получается, оставил ее одну со всеми бедами-напастями: мол, разбирайся как знаешь... Вспомнил он, как они с Варварой познакомились, как гуляли, о чем разговаривали... Что ни говори, а с ней было интересно! И смеялась она так, что и не захочешь, а следом за ней зальешься. А уж как взглянет...

Леонтий чертыхнулся: все-то она в башку лезет! Неуклюже поднялся. Придерживаясь за стену, допрыгал до кровати в углу. Скинул гимнастерку и повалился на матрац. Покрутился, устраиваясь на подушке, – и от нее Варварой пахло, как показалось. Хотел сбросить подушку на пол, а потом обнял покрепче и уснул, словно провалился. Все, он дома...

Едва рассвело, Леонтий был на ногах, если можно так сказать. Сунул свой обрубок в протез, захлестнул ремнями, вышел во двор, постоял, поглядывая по сторонам, потом взял ведро и как был в нательной рубашке, так и направился к колодцу: скрип-шлеп, скрип-шлеп...

– Ой, гляньте-ка, Леонтий воскрес из мертвых! – протяжно, с ехидцей, заголосила голстая баба, стоявшая возле колодца. – Прикатил, а его раскрасавица умызнула. Видать, поехала нового хахалю искать...

– Дура ты, Глашка! Что языком-то поганым мелешь? – всплеснула руками старушонка в широкой юбке до земли, в кацавейке и теплом платке. – Не знаешь – не болтай! Здрате вам, Леонтий Матвеич! – Она склонила голову. – Вот радость-то, живым вернулись! А Глашку не слушайте. Завистливая баба.

– А чему завидовать-то? – уперев руки в бока, возмутилась Глафира. – Что у него баба гуляющая или что он безногим воротился? Хе-хе, вот радость-то! И Варька не баба, и он не мужик. Так, две половинки... – И поджала тонкие губы.

– Стыда у тебя нет! – покачивая головой, протяжно сказала старуха. – Не слушай ее, Леонтий Матвеич! Твоя Варька – золото, а не баба.

– Золото для других? – буркнул Леонтий, подхватил ведро и медленно направился к дому: скрип-шлеп, скрип-шлеп...

– О, баб Дуся, слышала? Сам Ленька сказал, что его Варька еще та гулена! Всех мужиков перебрала, огни и воды прошла, шалава подзаборная, – опять зачастила Глафира. – Горбатого могила исправит. Так и ее...

– Да замолчи уже! – сердито прошамкала старуха. – Сама не живешь и другим не даешь. Распустили сплетни на пустом месте, ославили девку на всю деревню... Вот погоди, скажу твоему мужику, пусть он тебя проучит!

– Тоже мне напугала – мужик! Да я сама его... – начала было Глашка – и ойкнула, когда рядом с ней вдруг загудел тягучий бас. – Коленька, я же пошутила... Конечно, ты настоящий мужик... А-а-а!..

– Правильно, Коля, так ее, заразу! – донеслось от колодца. – Приструни немного, чтобы почем зря языком не молола.

Во дворе Леонтий скинул исподнюю рубаху и принялся мыться холодной водой. Охал, фыркал, намываясь. Потом вытерся утиркой, висевшей на крыльце, подхватил рубаху и зашел в избу.

Усевшись за стол, сразу налил в стакан, выпил. Закряхтел, замотал головой: ух, крепка самогонка! Потом схватил окунька и принялся грызть. Достал из свертка, что оставил Панкрат, две небольшие картошки. Очистил одну: внутри почерневшая. Все равно откусил и зажмурился. Опять налил и выпил. Закурил. Стал осматриваться.

Впотьмах-то накануне родную избу не разглядел. Все такое знакомое, но в то же время чужое. Как он вчера сказал соседу, «будто я мимо проходил и просто присел отдохнуть». Так и сейчас было, но уже как будто немного отступило и при-тупилось... Стол, табуретки, кровать в углу, над ней простенький коврик. Рядом сундук, а в нем, как он помнил, его костюм, рубахи и ботинки, Варькины платья и прочие тряпки. Возле окна этажерка, на ней две-три книжки, огрызок карандаша, шкатулка – все нажитое богатство. А в углу икона виднеется. Это Варвара с собой принесла, когда они с Леонтием поженились. Странно, если насовсем уехала, почему ее не забрала? Леонтий сдвинул брови. Знал, что жена дорожила этой иконой, которая ей будто бы еще от бабки досталась. Икона здесь, а Варвары нет, и куда укатила – непонятно, все молчат...

Леонтий поднялся. Придерживаясь за стены, вышел во двор. Распахнул дверь в сараюшку. Тишина. Раньше, хоть и жили сами по себе, а здесь и свинка была, даже не одна, и кур десятка два, и гуси ходили, и козу держали. И за всем этим хозяйством Варвара присматривала... Тьфу ты! О чем бы ни подумал, все думки неминуемо к Варьке сходятся!

Огляделся в полутьме. Скрип-шлеп, скрип-шлеп. Подошел к закрытой двери, звякнул щеколдой – открыл. Остановился на пороге. Здесь он столярничал. Верстак в углу, на нем лежит весь инструмент, на стенке пилы, угольники да линейки. Он постоял, рассматривая. Каждая вещь на своем месте, как он привык держать. Наверное, Варвара позаботилась... Вот черт, опять! Грохнул дверью и направился в избу: скрип-шлеп, скрип-шлеп.

– Хозяин, бывай здоров!

На крыльце стояла соседка с ведром и узелком.

– С прибытием, Лень! Мы так рады, что ты вернулся живой, так рады! Я всю ноченьку глаз не сомкнула, все про тебя думала да про Варвару...

– Нечего думать, – буркнул Леонтий и стал медленно подниматься по ступеням.

– Не успел появиться, уже всю плешь прогрызли. И ты будь здорова, Анюта! Что тебя нелегкая принесла?

– Панкрат прислал.

Она кивнула на ведро.

– Чуток картошки положила. Плохо уродилась в этот раз, да и сажать было нечего. Вот здесь еще грибы. А Панкрат выделил для тебя самосад и газетку сунул на всякий случай. Мало ли что...

Она помялась, хотела что-то сказать, а потом махнула рукой, все оставила и пошла со двора.

– Сами разберетесь, не малые дети.

Чему-чему, а табаку Леонтий обрадовался. Лучше без куска хлеба остаться, чем без курева! Проголодаешься – можно потерпеть дня два и даже три, а вот без табака сразу беда. Весь изведешься, всю траву да листья искуришь или изжуешь,

но все равно тянет смолить – спасу нет. Он сразу подхватил узелок и ведро да быстрее подался в избу.

К вечеру снова нагрянули гости. А потом люди и вовсе потянулись друг за дружкой. По деревне быстро разошелся слух, что считавшийся погибшим Леонтий Шаргунов вернулся – без ноги, но живым. Несмотря на голодные времена, каждый старался прихватить гостинчик. К Леонтию заглядывали все: соседи, ребятня, деревенские бабы и молодые девчонки. И вдовы заходили – спросить, не встречался ли он где-нибудь на фронте с их мужьями... Спрашивали, а сами плакали.

Плакали все, кто приходил, бывало, даже мужчины не сдерживали слез.

Мужики приносили бутылку, рассаживались возле стола, а то и на подоконнике, если места было маловато, выпивали и подолгу разговаривали. Все разговоры в конце концов сводились к войне. Каждый старался выложить что-нибудь свое, наболевшее: или про себя, или про друзей, с кем рядом воевал. Этот вернулся, тот погиб, а тем повезло – в госпиталь угодил. Повезло, потому что в живых остались, а что теперь без руки или без ноги – это мелочи. Дома их готовы ждать сколько угодно и примут любых: здоровых, контуженных, безруких и безногих, слепых и глухих... Лишь бы вернулись.

– Вот я помню, наш полк вырвался вперед, – рассказывал невысокий тощий мужичок. – Ушли мы далеко от своих – и нас взяли в кольцо. Боеприпасы закончились. И как принялись фашисты садить в нас без передышки, зная, что никуда не вырвемся! Трое суток мы пролежали в болотах, головы не могли поднять – такой огонь вели по нам фрицы. Чтобы от него укрыться, мы выкладывали перед собой тела погибших товарищей. Они мертвые спасали нас живых. А через трое суток наши подоспели. Вот только от полка осталась всего одна рота. Так-то, братцы... Мне ночами снятся ребята, что там погибли. Приходят. Разговариваю с ними...

Он замолчал, уткнувшись взглядом в пол.

– Давайте, мужики, выпьем, – сказал кто-то.

Все выпили.

– А мы готовились к атаке. «Катюши» как врзали по немцам – ужас, что творилось! – заговорил крепкий мужик в расстегнутой до пупа рубашке. – Как дали, аж земля горела! Потом пошли мы, танки. И только двинулись в атаку, как из огня навстречу нам выскакивает фашист! Прямо вот так, передо мной. Гляжу, а у него вся башка седая и глаза белые-белые, даже зрачков не видно! Видать, рассудка лишился после наших «катюш». Никого не замечает и бежит прямо на мой танк. А я куда отверну, если рядом со мной другие идут? По нему прошли... Эх, война сволочная!..

И тоже смолк, уставившись куда-то в окно.

– Помню, заскочил я в один дом, когда Берлин брали, – медленно заговорил еще один мужик, потирая щетинистое лицо. – Слышу, кто-то возится в комнате. Забегаю туда, а там офицер-эсэсовец в гражданскую одежду переодевается. Видать, сбежать хотел. Меня увидел, пистолет выхватил и выстрелил мне в лицо. Промახнулся, мне только висок обожгло. Я его из автомата снял. Дурак он: нужно было в грудь стрелять, тогда бы попал. А он – в лицо из пистолета! Кто же так стреляет?

Сказал и пожал плечами, словно не в него палили и не его могли убить.

– Давайте, мужики, выпьем за всех, кто не вернулся домой, – предложил кто-то за столом. – За всех, кого до сих пор ждут и будут ждать...

Выпили. Потом потянулись на улицу, на перекур. И на крыльце опять долгие разговоры. Вспоминали войну, тут же переходили на деревенскую жизнь и начинали

что-нибудь обсуждать, спорить, а иногда и ссориться. Тогда вмешивались жены и наводили порядок: одних ругали, других уговаривали, третьих просто уводили домой.

Прошло несколько дней, и на пороге появился председатель, Роман Тимофеевич. Зашел, осмотрелся. Нахмурился, увидев замызганные полы, мусор в углах, пепел на столе и подоконниках, разбросанные повсюду свертки, узелки и узелочки. В доме стоял стойкий запах махорки.

Леонтий сидел за столом – небритый, опухший и уже навеселе.

– Здорово, солдат!

Председатель подошел к столу, громыхнул табуреткой и присел напротив Леонтия. Покрутил в руках заляпанный стакан, чуточку налил в него и выпил.

– За приезд, за твое воскрешение из мертвых!

– А, здрасте вам. – Леонтий пьяно качнул головой. – Как живете-можете? – И потянулся за бутылкой.

– Вашими молитвами.

Председатель перехватил бутылку и отставил подальше.

– Не надоело в рюмку заглядывать?

– А что? – с гонором сказал Леонтий. – Имею право! Я домой вернулся. Вот гуляю...

Он обвел рукой стол.

– И долго еще собираешься гулять? – прищурился Роман Тимофеевич.

– Сколько хочу, столько гуляю. Вам-то какое дело? – повысил голос Леонтий. И заухмылялся: – Я человек списанный, к жизни и труду непригодный. Калека безногий. Вся моя жизнь коту под хвост. Ясно вам?

– А, ну да, ну да! – закивал председатель. – Это проще всего – себя жалеть. Мол, больной, хромой, жизнью обиженный... И самогоном себя глушить – так сказать, горе заливать.

– Я войну видел! – Леонтий ударил кулаком по столу. – А ты, Тимофеич, дальше райцентра не выезжал. И не тебе меня совестить, понятно?

– А я каждый день смотрел в глаза детишек, которых к нам привозили в эвакуацию! – тоже повысил голос председатель. – У нас в деревне всю войну детдом стоял, только потом его в город перевели. Ты знаешь, каково это, когда голодные дети смотрят на тебя и молчат? Страшно и больно... Твоя Варвара этих ребятишек выхаживала. В тень превратилась, потому что у самой маковой росинки во рту не было, все им отдавала. И если бы не она...

– Да что вы лезете ко мне с этой Варькой? – вспыхнул Леонтий и смахнул со стола пустую бутылку. Та, звякнув, покатила по грязному полу. – Нашли икону! У меня своя жизнь...

– Знаешь, Ленька, я тебе раньше сочувствовал, – помолчав, сказал Роман Тимофеевич. – Ты рано без родителей остался, совсем еще мальчишкой пошел работать, чтобы себя прокормить. Потом, как женился, поползли эти слухи про Варвару... Я думал, надо же, как не везет человеку, жалел тебя. А теперь понял: ты просто дальше своего носа не видел и не хотел видеть. Тебе так было удобно. Наслушался бабьих пересудов, отвернулся от жены и успокоился. А ты бы своей башкой подумал, сколько Варваре пришлось вынести, через что она прошла! Ты помочь ей должен был, защитить. А ты бросил ее одну...

Председатель вздохнул. Хотел было налить себе в стакан, но передумал и поставил бутылку обратно.

– Я бросил?! – вскинулся Леонтий. – Я вернулся – и где же она, моя разлюбленная, а? Никто не знает, а кто знает – посмеиваются. Говорят, к хахалю подалась...

– Дурак! – оборвал его председатель. – В город твоя Варька поехала, в детдом. Прикажешь на каждом перекрестке об этом кричать? Хочет она взять мальчонку-сироту. Мы с бумагами помогли. А что тебя никто не спросил, так ведь ты погибшим числился, столько лет не подавал о себе вестей... – И добавил: – Радуйся, сын у тебя будет! Еще один мужик в доме появится, помощник вырастет. Мальчонка – вылитый ты. Варвара как его увидела, так сразу к нему сердцем и потянулась.

– Сын... – Леонтий запнулся и в растерянности закрутил башкой. – Так ведь... А как жить-то будем? Я же безногий...

Сказал и поник.

– А руки и голова у тебя на что? – усмехнулся Роман Тимофеевич. – Чем собираешься заниматься? Так и будешь у бутылки дно искать или все-таки возьмешься за ум? Не для того Варвара мальчонку привезет, чтобы он смотрел, как отец лодыря гоняет и спивается.

– Да куда я со своей культей пойду? – Леонтий стукнул по ноге. – Ни копать, ни пахать...

– Кто тебя заставляет пахать? – пожал плечами председатель. – Ты же неплохой столяр и плотник. До войны любо-дорого было смотреть на твою работу. И двери делал, и окна, да много чего... Вот и займись. Мастерскую выделю, инструментами и материалом обеспечу. Помощников подберешь сам. Работы – непочатый край: нужно старое восстанавливать, новое строить... Сына в подручные возьмешь, пусть растет при деле, учится мастерству. Ну как, согласен?

Леонтий растерялся от неожиданного предложения. Он уже привык считать себя ни на что не годным, обузой для других, а тут вдруг... Вспомнил, как в первый день после возвращения зашел в свою мастерскую, как задрожали руки, прикоснувшись к инструментам... Соскучился!

– Можно взяться, – степенно сказал он. – От работы я никогда не бегал. Приучиться бы только с одной ногой управляться...

– Вот и ладушки, – перебил Роман Тимофеевич и встал. – Договорились. Я распоряжусь, чтобы подготовили мастерские и прочее. А тебе даю еще три дня на уборку в избе... – Он обвел взглядом горницу. – И в семье порядок наведи. Нужно жить своей головой, а не верить чужим сплетням. Понял? Вот так!

Надвинув на глаза фуражку, председатель пошел к выходу. На пороге оглянулся, постоял, глядя на Леонтия, как будто прикидывал, можно на того надеяться или нет. Потом погрозил пальцем и вышел.

Леонтий еще посидел за столом. Хотел выпить, но подумал и отставил бутылку в сторону. Посмотрел по сторонам: везде грязь, мусор, окурки... А запах!.. Поморщился и торопливо взялся за уборку. Думал о Варваре, о сыне, который скоро приедет, и удивленно качал головой.

Смеркалось, когда дверь распахнулась и на пороге появился Агафон. Он хохотнул, увидев, как Леонтий елозит по полу в исподнем белье и косырем скоблит грязные половицы.

– Эй, Ленька, ты что это делаешь? – Сосед прислонился к косяку. – Полы драить – это же бабья работа! Хватит, поднимайся. Посидим, покурим, поболтаем. Столько не виделись...

– Некогда рассиживаться, – буркнул запыхавшийся Леонтий. – Иди отсюда, не стой над душой! Мешаешь. Хватит, отметили приезд. Пора делом заняться.

И опять взялся за косырь.

Агафон потоптался, что-то бормоча себе под нос. Собрался закурить, достал кисет, потом взглянул на чистый пол и молчком вышел.

Чуть погода снова стукнули в дверь. Ввалился крепкий старик, держа в руке небольшой кукан с мелочевкой.

– Ленька, я рыбку принес! – забасил он и в грязных опорках прошлепал к столу. Положил на него рыбу и прищурился: – А ты чего на карачках ползаешь? Перебрал, что ли?

– Ну, дед Тимоха! Я тут полы скоблю, а ты в грязной обуви шляешься! – не удержался, рыкнул Леонтий и вытер вспотевшее лицо. – Вон, аж мокрый весь... Спасибо за гостинец.

– Ну ладно, не стану мешать.

Дед Тимоха направился к двери.

– Не ругайся. Рыбку определи, чтобы не испортилась. Наловлю – еще принесу. Леонтий не ответил, все скоблил полы. Доски зажелтели. Намочит их – сразу смоляным духом тянет. Опять берется за косырь и начинает скоблить. Немного продерет, смывает водой – и опять запах смоляной...

Наконец закончил. Чувствуя усталость, устроился на крыльце с кисетом. Над деревней висели густые сумерки. Дорога терялась в них, но Леонтий все равно смотрел вдаль, дымил самокруткой и ждал. Вдруг они приедут уже сегодня – Варвара и мальчик. Какими словами их встретить? «Здорово, малой, я твой папка. Здравствуй, Варя. Мне Тимофеич все рассказал...» Так, что ли?

Задергалась щека, следом затряслась голова. Он схватился рукой, словно старался удержать. Врачи говорили, что это нервное, со временем пройдет...

Леонтий представил лицо жены. Вспомнил, как она смотрела в тот день, когда его забирали на войну, – словно хотела что-то сказать или спросить, но не решалась... Вспомнил слова председателя, что нужно жить своей головой. И вдруг успокоился. Здесь его дом, и теперь у него по-настоящему есть семья. Война и мытарства по госпиталям остались позади. Можно начинать жить заново. Они с Варварой и сами не пропадут, и сына на ноги поставят. Ничего, что он, Леонтий, без ноги. К этому можно приспособиться. Главное, что живой.

Он сидел, курил, вглядываясь в дорогу, по которой к нему должна была прийти новая жизнь, готовый встать и шагнуть ей навстречу. Может, они приедут завтра, а не сегодня. Путь-то из города не близкий... Ну и ладно: ведь Леонтий больше никуда отсюда не денется. Он теперь всегда будет с ними. Он вернулся.

## ЛЮДИ-ПТИЦЫ

Алёшка, сидевший на крыльце, потёр красные воспалённые глаза и поёжился, поправляя старую куртку. Казалось, солнце пригревает, а потянет ветерок – и сразу знобит. Что ни говори – осень на дворе. Он вздохнул. Вот уж который день не спит. Вроде закроет глаза, а сон не идёт. Всё бабу Шуру вспоминает. К ней привязался, когда родители померли. Баба Шура забрала его к себе. Одна жила. Дед Василий давно пропал. Вышел на двор и исчез. Долго искали, но не нашли. Разное говорили в деревне, будто он с нечистой водится, но чаще дурачком называли, но баба

Шура никого не велела слушать. Говорила, что дед Василий хорошим мужиком был. Пусть у него мозги набекрень и со своей чудинкой, но все люди такие же, как дед, и ничем не лучше, а может и похуже, но скрывают это. И обещала, когда Алёшка вырастет, рассказать про него. Алёшка остался жить с баб Шурой. В школе слабенько учился. Бог ума не дал, как соседи говорили. Учителя махнули рукой, что толку тратить на него время, если ветер в голове гуляет. В одно ухо влетает, а из другого со свистом выскакивает. Сидит на уроках и ворон в небе считает. А бывало по осени, когда птицы собирались в стаи, Алёшка выскакивал из класса и начинал кружить по двору, словно взлететь пытался. Девчонки смеялись и дураком обзывали, а мальчишки нередко лупили его, а он ни на кого не обижался. Он смотрел на всех и улыбался – широко и радостно. Учителя головой качали, мол, бабка Шурка, ты намучаешься с внуком-то. А когда тебя не будет, совсем пропадёт паренёк. И советовали, чтобы сдала его в детдом или в специальный интернат, где такие же живут, как он, а то и похуже. Убогие – одним словом. А баба Шура хмурилась, и начинала грозить всеми земными и небесными карами за то, что живого человека хотят на погибель отправить, и говорила, что костями ляжет, но не отдаст родного внука. Пусть мозги набекрень, как у деда Василия, но он же человек – это главное! Как же можно взять и своими руками родную кровиночку в интернат отдать? И грозила скрюченным пальцем...

Баба Шура повезла внука в райцентр, врачам показала. Может, таблетки или микстуру выпишут, чтобы умишка прибавилось. Всего лишь капельку, а больше и не нужно. Жалко внука, к жизни неприспособлен. Врачи руками развели. Если своего ума нет, чужого не добавишь. Хворобу в башке нашли. Какое-то наследство передалось, как баба Шура всем говорила, а потом смеялась, что богатым будет внук-то, и справки показывала, а что там понаписали врачи, чёрт ногу сломает. Махнёт рукой баба Шура и мелко засмеётся, прикрывая беззубый рот уголком косынки. А потом пристроила Алёшку в мастерские. Пусть полы подметает да всякие железяки таскает, чем сиднем сидеть дома. Глядишь, копеечку заработает. Какая-никакая, а помощь. Там Алёшке понравилось. Больше всего, когда разрешали в кабине посидеть. Вот уж радовался! И Алёшка стал в мастерской пропадать с утра до вечера. Особенно, когда посевная или уборочная, когда каждая пара рук на вес золота, даже руки убогонького. Вернётся домой, усядется за стол, а сам носом клюёт. Не успеет улечься, уже засопел. И почти всегда один и тот же сон, будто баба Шура стоит возле калитки и ладошкой машет ему, словно подзывает, чтобы поторопился, а сама улыбается и вся светлая-светлая. Родители не снились. Ни разу. Потому что не помнил их. Так, какие-то образы мелькали и всё. И деда Василия не видел, только на фотографии. А баба Шура всегда во сне приходила. Наверное, успевал соскучиться за день. А она жалела его, всё расстраивалась, как он будет жить с птичьими мозгами, если ни к чему не приспособлен. Всё дождалась, что старшая дочка приедет. Надеялась, что Алёшку к себе заберёт. И не дождалась. Померла. Тихо ушла, незаметно...

Осень на дворе. Пусть солнце не такое яркое и тёплое, а всё же согревает, но ветер прохладный. В тенике сидишь, как задует, аж сразу начинает знобить. Осень, ничего не поделаешь... Вон дедка Ефим выбрался из дома, не стал на крыльце сидеть, а на лавочку подался, где солнца побольше. На улицу вышел, чтобы с баб Шурой попрощаться, в последний путь проводить, а потом на лавочке старые кости погреть, покуда солнышко тёплое. Сидит в зимнем пальто с потёртым и

облезшим воротником, в шапке, очки на кончик крупного носа сползли, а он не поправляет. Видать, пригрелся и уснул, притулившись к забору. Сидит старик, посыпыхивает...

Алёшка вздохнул и, приложив ладонь к глазам, всмотрелся в даль. Там желтел густой лес, а опушка покрылась пятнами: где-то зелёные мелькают, в других местах пожухлая трава, а там чернью отдаёт. Издалека донёсся птичий гомон. Алёшка задрал голову, взглянул вверх и не удержался. Вскочил и завертелся на одном месте, размахивая руками, словно крыльями, а сам засвистел, будто с птицами разговаривал и так тоскливо, так больно, словно жаловался, что баб Шура померла, что один остался... Птицы закружились над головой, загомонили, точно за собой звали, а потом скрылись за лесом. Следом за ними потянулась огромная стая. Вон полнеба закрыли. Гомонят и гомонят... В осенние дни Алёшка места себе не находил. Закружат птицы над головой, и тут же словно душу в кулак сжимает. Непонятная тревога охватывала, тоскливо становилось на душе, как-то неуютно, но в то же время был необъяснимый восторг, и ему хотелось разбежаться, вытянуться в струнку, взмахнуть руками, закричать громко и протяжно, взлететь над деревней и помчаться вслед за птицами...

– Алёшка, ну-ка, прекрати! – крикнула баба Шура и нахмурилась, когда впервые заметила, что он, раскинув руки, мечется на краю высокого обрыва, а над головой кружилась стая птиц. – Отойди от края. Упадёшь. Костей не соберёшь. Уйди, пока не отлупила! Весь в деда уродился. Таким же был – мозги набекрень. Узнала про это, да поздно. Замуж выдали, а потом сказали, будто у моего Васьки с головой не в порядке. Вся деревня потешалась, когда он в птицу превращался, – и опять закричала, намахнувшись тряпкой. – Ну-ка, хватит кружиться, живо по заднице надаю. Кыш, кыш отсюда! Ишь, разлетались! Мало, один пропал, так ещё и внука за собой тащите. Летите отсюда, летите, – и тут же повернулась к Алёшке. – Твой дед Василий начинал чудить, когда осень наступала, и птицы в стаи собирались. Он следом за ними рвался. Говорил, что душа мается, места не может найти. Встанет посередь улицы, задерёт бошку и смотрит в небо, где птицы кружат, а сам квохчет, вскрикивает, словно с ними разговаривает. И птицы ниже опускались, тоже криком исходили. Столько было, что белый свет застилала. А твой дед Василий раскинет руки в стороны и начинает кружиться и хлопает себя по бокам, хлопает, словно крыльями, а потом взмахнёт руками, тоненько вскрикнет, словно прощается с ними, и птицы выше поднимались, ещё кружочек делали над двором и улетали. А дед усядется посередь дороги и с тоской глядит вслед. И так до следующей стаи. И так, пока последние птицы не улетят... А потом дед Василий пропал. Вышел на двор. Всё на крыльчке курил и прислушивался, как птицы летели. Я выглянула – он кружится по улице, руками машет. Позвала, а он не слышит, на небо смотрит, и отовсюду птицы кричали, словно за собой звали. И так мне тоскливо стало на душе, аж в груди защемило. Вышла на двор, гляжу, на крыльчке папироски лежат, спички, а деда Василия нет. Думала, может, к кому-нить подался. Всё ждала, что вернётся, ан нет, так и пропал, и до сей поры не могут найти. Может, птицы забрали с собой, а может, рассудок потерял и теперь лежит в какой-нить больнице с решётками и даже имени своего не помнит. Никто не знает, где он, и я – тоже...

И баба Шура посмотрела на тёмное небо...

Алёшка поднялся. Потоптался на крыльчке и с неохотой зашлёпал в избу. Сегодня снесли на мазарки бабу Шуру. Она лежала, как принято, три дня в избе, и

каждый раз, когда свечи догорали, кто-то из старушек, что сидели возле гробика, неслышно поднимался и менял свечи, зажигая новые, и опять присаживался на лавку, горестно покачивая головой. Это дядька Кондратий смастерил гробик. Небольшой. Лёгонький, как сама бабка Шура. Алёшка хотел помочь ему, но дядька Кондратий прогнал. Велел возле двора сидеть и никуда не уходить. Соседки приходили, обмыли, переодели в смертную одёжку, какую Алёшка вытащил из старого сундука – это давным-давно бабка Шура показала и велела, ежели она преставится отдать соседям, а они разберутся, что к чему. Так и получилось...

Бабка Шура тихо, неприметно прожила свою жизнь. И ушла так же тихо. Правда, последние дни твердила, как же Алёшка останется один. Он же не знает эту жизнь, не приспособлен к ней, потому что у него своя жизнь, более понятная для него, где чужим не место. Ему легче с птицами разговаривать, – и, как казалось, они понимали его, – чем быть с людьми, которые его прогоняли и смеялись над ним – убогоньким. А если баба Шура помрёт, тогда Алёшка может пропасть без неё, как когда-то исчез дед Василий. Вон уже птицы кружат над двором – его высматривают, как бы с собой не забрали. И тыкала пальцем в потолок. Расстраивалась. И в последний день, ближе к вечеру, всё возле Алёшки ходила и печалилась, что один останется на белом свете и норовила дотронуться до него, по плечу или голове погладить, а он отдёргивался и хмурился. Не нравилось, словно маленького гладит, а он же большой. За окном темно было, когда они собрались спать. Бабка Шура долго сидела на кровати, глядела на него, что-то шептала, а может, молилась, а потом перекрестила его, спящего, и задёрнула занавеску.

Алёшка проснулся утром, в доме тишина, лишь ходики отсчитывали время, и запоздалая муха сонно колотилась в окне, а потом притихла. Он поднялся. Вышел на улицу, постоял на крыльце. Не слышно бабки Шуры, зато птицы кружились над двором. На него пикировали и опять взмывали, а на их месте другие появлялись и снова взлетали, а сами криком исходили, словно что-то рассказывали. Алёшка встрепенулся, опять появился какой-то непонятный восторг. Хотелось спуститься во двор, взмахнуть руками, словно крыльями, закричать протяжно и... И следом навалилась тоска, словно к земле придавила, аж дышать тяжело стало. Он оглянулся. Куры бросились к нему, думали, корм насыплет, а он нахмурился, опять взглянул на небо, махнул рукой птицам, чтобы прочь летели, и скрылся в избе. Зашёл в горницу. Отдёрнул занавеску, где стояла кровать бабы Шуры, и уселся на табуретку, что рядом стояла. Казалось, баба Шура спит. Морщинистые руки на груди сложены, а лицо какое-то светлое и спокойное, а по щеке муха ползала, а она лежала и не прогоняла её. Алёшка посидел возле кровати, несколько раз окликнул бабу Шуру, потом дотронулся до руки и отдёрнул. Холодная она – рука-то...

– Баб, вставай, баб, – забубнил Алёшка и снова дотронулся. – Почему лежишь, а? Дай хлеба...

Но баба Шура не шевелилась.

Алёшка опять завздыхал, закрутил лохматой башкой, не зная, что делать, подёрнул одеяло, прикрывая бабу Шуру, опасливо прикоснулся к руке и опять отдёрнул, потом поднялся и поплёлся к соседке, к тётке Зине, которая частенько его подкармливала, то яблочко совала, то пряник.

– Это... Тётъ... – он сунулся в дверь и затоптался возле порога. – Это... Бабака не встаёт. Я кушать хочу.

И замолчал.

– Как не встаёт? Давно утро, а она... Да неужели померла, – она заметалась по избе. – Я ж вчера с ней говорила. Она всё за тебя тревожилась да старшую дочку ругала, что не приезжает, а потом взяла молочка, сказала, что кашку потомит в печи, и ушла. Как же так, а?

И, прижимая руки ко рту, опять качнула головой.

– Она лежит, – пожимая плечами, повторил Алёшка. – Я проснулся. Подошёл, а она лежит. Холодная. Одеялку поправил. Бабака замёрзла.

Сказал и зябко передёрнул плечами.

– Ой, божечка, беда пришла, – запричитала тётка Зина, рот платком прикрыла и закачала головой, а потом вздрогнула от окрика и засуетилась, повернулась к мужу, который сидел за столом. – Петь, а, Петька, накорми паренька. Чать, маковой росинки во рту не было. Налей вчерашних щец. Вкусные – страсть! – она причмокнула, закачала головой, потом подтолкнула Алёшку к столу, а сама подалась к дверям. – Петька, обойди мужиков. Пусть могилку копают. Проследи за ними. Я в правление сбегаяю, начальству сообщу, потом бабок покличу и за монашкой зайду. А ты, Алёшка, когда покушаешь, посиди на лавке. Не входи в избу-то, не путайся под ногами – не мужицкое дело покойницей заниматься. Сами управимся, а тебя покличем, когда понадобится.

Сказала и умчалась, хлопнув дверью.

Алёшка изредка подходил к двери, стоял на веранде, прислушиваясь к тихим голосам, но войти не решался. Тётка Зина ругать начнёт, ежели заметит. Заскрипела дверь. Вышел дядька Кондратий. Сунул в карман складной метр. Постоял, задумавшись. Потом коряво написал цифры на клочке бумаги, посмотрел на Алёшку, хотел было что-то сказать, но махнул рукой и, надвинув фуражку на глаза, заторопился со двора. Алёшка подался следом за ним и вернулся, когда его прогнали. Постоял возле двора, посмотрел, как дядька Кондратий захромал, подтягивая ногу с протезом и размахивая руками, когда оступался. Взглянул на занавешенные окна, а потом уселся на лавку возле забора. И стал ждать, когда его позовут. Он сидел, поглядывая по сторонам, смотрел на старух, которые заходили в избу, а некоторые так и норовили погладить по голове, как делала баба Шура, но Алёшка отдёргивал голову и хмурился. Не любил, когда его гладили, как маленького. Старухи уходили, а он продолжал сидеть. Услышав гомон птичьей стаи, Алёшка поднимал голову и с тоской посматривал на птиц, которые проносились над головой. Поднимался и, размахивая руками, начинал кружиться на траве, криками подзывая птиц, и рассказывал им, что произошло, а они метались над головой, за собой звали. И Алёшке хотелось разбежаться, взмахнуть руками и полететь вслед за птицами. Он бы полетел, да нельзя, как же бабу Шуру оставит одну-одинёшеньку. Алёшка встрепенулся и опять посмотрел на птиц. Баба Шура говорила, что птицы – это души людские. Его ругала, что с ними разговаривает, прочь гнала, а сама вслед ушла. Видать, правду говорила бабака, что души людские – это птицы...

– Врёшь ты, бабака, – отмахнулся Алёшка, когда она опять взялась ругать его, что кружится на краю высокого обрыва, – что птицы – это души. Птички маленькие, а люди вон какие большие. Обманываешь...

Сказал и тут же получил подзатыльник.

– Нельзя так говорить, ежели не знаешь, – баба Шура погрозила пальцем. – Ишь, умник-полоумник выискался! Мне ещё отец твоего деда Василия говорил, что души переселяются в птиц. Ага... Вот каким был человек в жизни, его душа в

такую же птицу перебирается. И не спорь со мной, Алёшка, потому что умишка в тебе – кот наплакал! Вот, к примеру, взять плохого человека. Как ты думаешь, в какую птицу попадёт его душа, а? – и бабка, подбоченясь, взглянула на Алёшку, который сидел и молчал. – Правильно думаешь – в плохую птицу. Если человек обманывал в жизни, воровал и на других вину перекладывал за дела содеянные, его душа окажется у кукушки или в сороку-воровку переселится. Что смеёшься-то, злыдень! – И она опять намахнулась. – У чёрного человека, душегуба какого душа попадёт в ворону-падальщицу и будет до скончания веков дохлятиной всякой питаться. Ага... А ежели светлый человек был или, не дай Бог, ребёночек помер, а у них-то души всегда чистые, значит тому дорога к светлой птице.

– Ага... – недоверчиво протянул Алёшка. – А куда дядька Еремей попадёт, который всё стучит и стучит большим молотком, аж страшно становится, когда к нему заглянешь. Как же он в птицу залезет? – он засмеялся, плечики затряслись, а потом затих, задумавшись, и опять сказал. – А наша деревня тоже в птичек заберётся, а куда всякие артисты переселятся, которых по телеку показывают, а?

И Алёшка опять засмеялся, прыгал с пятого на десятое, задавая вопросы.

– Ишь, разговорился! То слово из него не вытянешь, а тут не остановишь. Куда... – бабка Шура задумалась, а потом кивнула. – Дык это же... У души дядьки Еремея одна дорога – это птица, которая дятлом зовётся. Ну, ты видел этих дятлов, когда в лес ходили. Вот и Еремей привык по наковальне стучать, а помрёт, душа к дятлу отправится и опять-таки начнёт своим делом заниматься, как при жизни. Деревня, говоришь... Мы же привыкли работать, каждый день землице-матушке в пояс кланяемся. Вот и получается, что переберёмся в грачей. Ты видел грача. Такие важные весною ходят по полям. Тоже кланяются, корм добывают. Наши душеньки к ним отправятся, и опять начнём поклоны отбивать, как при жизни было. Что касаемо артистов... – бабка Шура поджала губы, нахмурила и без того морщинистый лоб, потом сказала: – Одни в соловьёв перебираются, другие в дроздов, в общем, кто куда, а самые знаменитые и голосистые – эти в жаворонков. Ага... Ты, Алёшка, не гляди, что жаворонок – птичка-невеличка, зато её вон как с небес слышать. Звонит голосочек-то! И людям радость несёт, и к Боженьке поближе. Поэтому и говорю, что у каждого человека своя птица, и у тебя – тоже. Ага...

И утвердительно ткнула пальцем в потолок.

– Баб, а где твоя птичка? – Алёшка долго молчал, видать, старался понять, о чём говорила бабака, потом спросил: – А, где она?

И задумчиво поглядел на сухонькую бабу Шуру.

– Моя-то? – усмехнулась баба Шура и поправила платок. – Я стану курочкой Рябой. Яички буду для тебя нести. Ты ж из избы не выйдешь, пока парочку не скушаешь, а с улицы возвернёшься, с пяток можешь умять за один присест, а то и поболее, и глазом не моргнёшь. Наши курочки не успевают нестись для тебя. Хочу или не хочу, а придётся в несущку превращаться, чтобы ты с голодухи не помер.

И тоненько засмеялась.

Вслед за ней рассмеялся Алёшка, представляя баб Шуру несущкой...

Сегодня снесли бабу Шуру на мазарки. Остался лишь небольшой холмик и неуклюжий крест, да ещё веночек и маленькие букетики ярких осенних цветов. Видать, в школьном саду сорвали. Соседки пришли проводить в последний путь бабку Шуру. Поплакали возле могилки, когда её опускали, а Алёшка стоял, смотрел на неё, а потом задира голову, чтобы взглянуть на стаи птиц, и ему хотелось

взмахнуть руками, взлететь и помчаться вслед за ними. С кладбища все отправились в дом бабы Шуры. Тётка Зина с бабками щи сварила и лапшу, кто-то кутью приготовил, а баба Вера кашу принесла. Откуда-то пироги на столе появились. Всё сделали соседи, чтобы проводить бабу Шуру и помянуть её. Недолго сидели за столом. Мужики стопки подняли. Выпили. Алёшка сидел в уголочке. Сгорбился. Глядел, как поминали, как едва слышно разговаривали. Потом стали расходиться. Две соседки остались. Всё убрали, помыли и тоже ушли.

– Алёшка, – дверь распахнулась, и появилась тётка Зина. – Слышь, никуда не уходи. Дома сиди или во двор выйди. Я все дела переделаю, а потом за тобой приду. Пока у нас побудешь. Может, твоя тётка приедет. Телеграмму отбили. Ну, а не появится, тогда в интернате станешь жить. У себя не могу оставить. Извиняй!

Она развела руками, поправила платок и ушла.

Алёшка остался один...

Он долго сидел и смотрел в щелку между ставнями, а потом не выдержал, вышел на улицу. Сегодня тепло. Алёшка вздохнул. Взглянул на солнце и прислушался. Яркий день, и тишина на улице. Казалось, всё притихло в природе. Лишь берёзки золотом горят, а трава уж пожухла, прижалась к земле, прислонилась – зиму дожидается. Откуда-то донёсся запах дыма. Видать, старую ботву сжигают на огородах. Туманом стелется дымка, скрывая округу. Тишина... Нет, издалека донеслись крики птиц, и сразу же душу сжало в кулак, тоска накатила, а вместе с ней непонятный восторг, и, едва птицы показались в вышине, опять потянуло за ними и снова захотелось разбежаться, раскинуть руки, взлететь и помчаться вслед за птицами...

Алёшка встрепенулся. Оглянулся на дом. Показалось, баба Шура позвала. Взглянул и тут же поник. А потом закутался в куртку и притих. Солнце яркое, дымка плывёт по огородам, всё призрачно до синевы, а здесь холодно. И птицы покоя не дают. Кружат и кружат над головой. Видать, за собой зовут. А может, среди них и душа бабы Шуры. Алёшка задрал голову, стараясь рассмотреть птиц. Вот одна пошла вниз и закружилась над двором, словно присесть хотела, а потом жалобно вскрикнула и помчалась вслед за стаей...

Поднявшись, Алёшка осмотрелся. Дед Ефим, что напротив живёт, так и сидел возле двора. Видать, пригрелся. Хорошо ему. Задремал... Алёшка зашёл домой. Тишина в доме. Все звуки с улицы приглушены закрытыми ставнями. Тик-так, тик-так – качается маятник на старых часах, что висят в горнице. Алёшке казалось, часы всегда здесь висели. Старые. Циферблат уж давно облез да потемнел, и цифр на нём не видно, а маятник продолжает качаться, отсчитывая секунды жизни: тик-так, тик-так, тик... Алёшке нравилось смотреть на маятник. Усядется возле стола, смотрит на него, прислушивается к звукам, и сам качается, как маятник. И так сидел до тех пор, пока баба Шура не прогоняла его. А сегодня бабу Шуру закопали, а часы всё тикают и тикают. И сколько они ещё будут работать – никто не знает, и Алёшка – тоже...

Он стоял в дверях горницы, но не проходил. В горнице темно. Лишь редкие лучики солнца пробивались через закрытые ставни. Густой запах воска, тлена, каких-то трав, и тянет лекарством. Зеркало завешено, на телевизоре накидка, окна закрыты. Пусто в доме. Лишь на стенах несколько фотографий в рамках, и всё. Да ещё кошка промелькнула, припав к полу, и исчезла на кухоньке, скрывшись на печке. Под полом заскреблась мышь, и тут же пробежала кошка. Неслышно скользнула по горнице и опять скрылась. Алёшка медленно подошёл к фотографиям. Баба Шура

говорила, что это отец и мать, а Алёшка не помнил родителей. Так, что-то мелькало в голове и тут же исчезало. Он взглянул на фотографию. Отец хмуро и напряженно смотрел перед собой, а мать наоборот, улыбалась. А сегодня бабу Шуру закопали. Нет, её душа с птицами улетела...

Алёшка вышел из горницы. Потоптался на маленькой кухоньке, присел в уголок, где всегда сидел, и прислонился к обшарпанной стене. Опять мелькнула кошка. Муркнула, а потом притихла. Видать, тоже чувствует, что одни остались. Он скрипнул табуреткой. Взглянул на окно, закрытое ставнями. Сквозь узкую щель пробиваются последние лучи солнца...

Тихо в доме. Изредка осенняя муха зажужжит, забудётся и притихнет. С улицы донеслось мычание коров – это стадо под окнами прошло, а вскоре затихло вдалеке, лишь редкий раз в проулках бляели овечки, отбившись от стада. Взлаивали собаки лениво так, словно напоминали, что службу свою несут, хозяйское добро стерегут. Протарахтел мотоцикл. Видать, кто-то поехал кататься. Молодёжь собиралась в берёзовой рощице, что стояла на взгорке над рекой. Там собирались. Сидели до первых петухов, ребята показывали свою удаль, гоняя на мотоциклах, а те, кто постарше, парами расходились вдоль речки, находили укромные места и сидели до рассвета...

Он долго сидел на крыльце, дожидаясь, когда тётка Зина придёт. Потом прислушался. Со стороны обрыва донёсся птичий гомон. Алёшка затоптался. Тоскливо стало на душе, и в то же время появился непонятный восторг. И Алёшка не удержался. Неуклюже побежал по меже между огородами. Он бежал, размахивая руками, словно крыльями. В сумерках казалось, будто летит. Алёшка выскочил на обрыв и закружился, раскинув руки. Защёлкал, засвистел, птиц подзывая, потом взглянул ввысь, а небо над ним: яркое, тёмно-синее и бездонное. Опять восторг, и захотелось взлететь. Он вытянулся в струнку, взмахнул руками и с обрыва шагнул в небо. Шагнул и закричал: громко, восторженно, и замахал руками, словно крыльями, и полетел. Он летел над деревней, над лесами и полями, над реками и озёрами, и отовсюду к нему присоединялись такие же люди-птицы, чьи души в птиц превратились, и они стали подниматься всё выше и выше в синь небесную, навстречу солнцу, и вокруг него был яркий и тёплый свет...

А над деревней опустилась ночь...

---

*Смирнов Михаил Иванович родился в городе Салавате в 1958 г. Печатался в «Литературной газете», «Литературной России», журналах «Молодая гвардия», «Сибирские огни», «Литературный Крым», «Север», «Бельские просторы», «Литературный Азербайджан», «Нёман» и др. Лауреат ряда литературных премий и конкурсов: Международной премии «Филантроп», Международного конкурса детской и юношеской художественной и научно-популярной литературы им. А. Н. Толстого, Международного конкурса Национальной литературной премии «Золотое перо Руси». Автор книг «Поиски графских сокровищ», «Одна, но пламенная страсть» (в соавторстве с Сергеем Малашко), «Тайна старого подземелья», «По следам Ворона» и «Исчезновение в ночи, или Долгий путь домой».*

